

Авторская страница

БЕСКОНЕЧНЫЙ СЕАНС

Александр Нилин — журналист, сценарист, режиссер. Сын известного советского писателя Павла Нилина, родился в Москве в 1940 году. С кино связана жизнь всей его семьи: практически все произведения отца были экранизированы, сам Нилин учился в Школе-студии МХАТ, в университете, закончил Высшие кинематографические курсы. Он автор сценариев многих документальных и телевизионных фильмов, как режиссер поставил документальный фильм «На моем веку», посвященный Алексею Габриловичу. Сейчас Александр Нилин — шеф-редактор журнала «Обозреватель».

Самое раннее впечатление от кино — реклама. Восьмилетним, конечно, скромная по нынешним представлениям, но меня впечатлившая на всю жизнь. Из глубины Петровки увидел я над входом в «Метрополь» огромное цветное изображение мужчины, прижавшего к уху телефонную трубку. Пройдет более тридцати лет — и превратившийся в слушателя Высших кинематографических курсов, торопящегося на занятия в здание Театра киноактера, я увижу, как из автобуса выдвигают длинный-длинный гроб. А в гробу — тот самый мужчина с запавшей в душу рекламы фильма «Первая перчатка»: знаменитый артист Иван Переверзев...

Меж разведенными во времени воспоминаниями неожиданно вклинивается еще одно: Коктебель, лето пятьдесят восьмого года — и в нем блондинка с формами, до сих пор томлящими, как эмблема чего-то недополученного мною в незаметно пролетевшей жизни. Ослепленный курортным видением, я не сразу обратил внимание на спутника блондинки. А им был все тот же Переверзев.

«Первую перчатку» я увидел в повторном прокате — и, кстати, по сей день не пропускаю случая посмотреть ее вновь. Во мне сохранилось убеждение в нерасторжимой связи кинофильма с помещением, где его демонстрируют. И я уверен, что сеансы, пришедшие на мое детство и начало юности, смешались с тогдашними днями, как сон и явь, — и длятся во мне поныне, продолжая обещать укоренившимся иллюзиям бесконечность.

И едва ли не каждая из памятных картин имеет для меня точный московский или подмосковный адрес. «Депутат Балтики» — кинотеатр «Баррикады», «Секретная миссия» — «Художественный», «Чапаев» и «Тарзан» — зал «Динамо» со скошенным потолком, поскольку расположен под трибунами стадиона... Бушующее море я впервые увидел на экране в крошечном зальчике клуба костно-туберкулезного санатория в Перedelкино — шел «Адмирал Нахимов», уже исправленный великим Пудовкиным по указанию Сталина, в чьем величии засомневались много позднее. Не забыть мне никогда лирической печали на «Разных судьбах» — на вечернем сеансе, где был я с девочками из своего девятого класса, раздраемый выбором, отложенным, как выяснилось, навсегда. Девочки поголовно влюбились в Юлию Панича. А я горд тем, что в Юматова.

Судьбы у актеров действительно сложились совсем по-разному, как в картине Лукова. Но они оба из моей юности — и служу Панича на радиостанции «Свобода», и выстрел Юматова в дворника я считаю частью собственной биографии... В Дом же кино, пусть и перебрал он с Воровского на Васильевский и удлинил свое имя (не кино, а кинематографистов), меня в общем-то никогда не тянет. В старое здание меня, шестилетнего, привели почти полвека назад — на «папину премьеру». В фойе висел портрет отца — он был среди самых первых лауреатов сталинской премии за первую серию «Большой жизни», вышедшей на экраны в год моего рождения. Теперь предстояла премьера второй серии. Чем она закончилась, люди моего поколения знают из идеологического постановления (в котором допущенные ошибки казнят также и авторов «Ивана Грозного» и «Адмирала Нахимова»). До показа же картины высшего начальства их коллеги единодушно хвалили картину.

Праздник на даче в Перedelкино, устроенный в честь премьеры, мне, наверное, потому особенно запомнился, что праздников в родительском доме потом не было долго-долго, а когда они возобновились, я успел повзрослеть — и жаждал праздников «на своей улице».

Тогда же меня поочередно сажали на колени Борис Андреев и Петр Мартынович — исполнители главных ролей. Они шутили насчет того, что я — их старый знакомый: вместе ехали в эвакуацию...

Пройдет чуть больше десятилетия, за которое Андреев снимается и в мюзиклах Пырьева, и в «Падении Берлина», и в еще множестве популярных картин, когда мы

снова встретимся с ним под Звенигородом, где проходили натурные съемки «Жестокости». Отец к тому времени потерял интерес к кино и даже на съемки своего сценария приехал только потому, что молодой режиссер Володя Скуйбин, тогда уже тяжело больной, пожаловался ему на Николая Афанасьевича Крючкова и Жору Юматова — пьют. Борис же Федорович от пагубной страсти, похоже, напрочь излечился. Глядя на него, невозможно было представить, как они с Алейниковым в Киеве до войны на съемках «Большой жизни», не в состоянии дойти из ресторана до гостиницы, разбили витрину мебельного магазина и заснули на кровати...

В начале шестидесятых я сидел в ресторане Дома актера — и скорее уж актера напоминал, чем режиссера. Впрочем, к тому времени и кинорежиссеры забыли настоящий совет Михаила Ильича Ромма своим ученикам по ВГИКу — целиком перепоручить выпивку артистам. «Вы посмотрите, — говорил он студентам, — никто из действующих режиссеров не пьет. Разве что Файнциммер... но вы же не собираетесь стать Файнциммерами?» Файнциммер, однако, преуспевал, снял известные картины: «Котовский», «Константин Заслонов», «Овод» — удостоился двух сталинских премий...

В общем, я выпивал, как и положено журналисту, имеющему косвенное отношение к миру искусства. Мой суетный приятель, заметивший за соседним столиком Алейникова, потребовал, чтобы я подошел к Петру Мартыновичу и представился. Алейников сразу вспомнил отца: «А! Хромым...» Меня же он, конечно, совершенно забыл. Но пообщались мы очень сердечно.

Умер Алейников молодым, едва заглянув в шестое десятилетие. Но в заметных ролях не снимался лет как бы не двадцать (если не считать картины «Утоление жажды», вышедшей уже после смерти актера) — и, забываемый, пребывал в глубоком забвении.

Он лежал в гробу точно такой же, каким видел я его в ресторане, — болезненно усохший, лысенький, остролиций. А с портрета в изголовье улыбался человек, чье беззащитно-ироническое обаяние смягчало суровость времен, вселяя надежду на возможность искреннего и заслуженного многострадальной страной веселья... Гроб выставили в фойе Театра киноактера (бывшего Дома кино). Народ как-то неуверенно заходил с улицы в распахнутые стеклянные двери — и поначалу казалось, что пришедших проститься с Алейниковым будет немного.

Внизу, в буфете, Гена Шпаликов, слегка размягченный разминочной дозой спиртного, предложил: «Давайте выпьем за то, чтобы нам дружить, как дружили Алейников, Андреев и Крючков!»

И тут же, круша стулья и столики, заполненные собой пространством, вломился, устремляясь к стойке, Борис Андреев. Опрокинул тонкий стакан — и ринулся обратно. И все мы — за ним.

Андреев упал на гроб, обхватив его руками, — и в голос зарыдал. Лишний раз мы убедились в силе актерского биополя: жавшиеся к стенкам люди дали волю своей скорби — через минуту рыдали все собравшиеся...

Дежурных слов на панихиде этой не было. Сергей Герасимов сказал, что вряд ли кого-либо должно смущать отсутствие у покойного титулов — «звания присваивает народ, и народ свое звание ему присвоил». Молодой Булат Мансуров, снявший Алейникова в «Утолении жажды», добавил к сказанному, что Петр Мартынович был самым народным из народных артистов страны. А бледный Валя Зубков, не в силах ничего вымолвить, опустился перед гробом на колени...

Алейников жил в престижном высотном доме на площади Восстания. Но в похоронах на Новодевичьем кладбище покойного было отказано. Рассказывали, что Андреев спросил у начальников: «Вот меня бы вы на Новодевичьем похоронили?» — «Вас бы обязательно — вы же народный СССР!» — «Тогда отдайте мое место Петьке!» Рассказ о визите Бориса Андреева к отвечающему за ритуал на



фото Якова Титова

Своим благополучием в младенчестве я в значительной степени обязан кино



фото Сергея Жабина

чальству показались мне тогда апокрифом. А вот умер Борис Федорович — и лежит на Ваганьковом.

...На курсы кинематографистов я попал в конце семидесятых, когда учеба мне плохо давалась — дело шло к сороку. И на скептическое отношение ко мне мастеров и слушателей не мог обижаться. Учащаяся молодежь восхищалась иностранными картинами, мне казавшимися малопонятными, хотя в архаичности своих вкусов не решался признаться однокашникам, которые откровенно смеялись над языком отечественных фильмов сороковых — пятидесятых. Я бы окончательно скис, если бы не Лео Оскарович Арнштам, почему-то ко мне расположившийся — и, порицая за лень, не отказывал мне в некоторых способностях.

Арнштам считался классиком: «Подруги» с Жеймой и Зоей Федоровой, «Зоя»... Он из тех классиков, которых слушают, однако не слушаются.

И я, неблагодарный, не слушался — ничему не хотел учиться у Лео Оскаровича. Зато уж слушал его часами, позабыв обо всем. Арнштам был из мира, занимавшего меня по-своему — по-глупому, не боюсь признаться. Я и сейчас рассматриваю картинок в старых комплексах «Советских экранов» всегда предпочту неотложным занятиям. Сердившийся на современное киношное командование за сумятицу в требованиях, Арнштам сказал мне как-то: «Знаешь, при Сталине было полегче — или смоют ленту, или премию дадут...»

Луков не смирился с опалой — и сделал по сценарию модного при Сталине писателя Бориса Горбатова новую картину о шахтерах. И в начале пятидесятых приезжал к нам в гости со второй лауреатской медалью на лацкане.

Ребенком я однажды попросил у Леонида Давыдовича разрешения поддержать в руках орден Ленина, который носил он постоянно. Луков возмутился: «Хороша игрушка!» Нетрезвый отец засмеялся: «Да ты же его за меня получишь!» Сценаристы

изначально ревновали власть к режиссерам, награждаемым щедрее, а режиссеры с трудом скрывали зависть к всенародному признанию артистов.

Артистов и начальство всегда баловало. Что не мешало проявлять к ним безжалостность по сугубо идеологическим соображениям.

Бориса Андреева спасла и быллинная внешность, и конъюнктура изменившаяся. Случилось так, что Михаилу Чиаурели до зарезу потребовался герой-символ, в чьих устах органично прозвучала бы оговорка, ничуть не обидевшая добряка-вождя, окальвающего в саду яблоню. Сценарист, трижды лауреат и заместитель генерального секретаря Союза писателей Петр Павленко придумал для «Падения Берлина» гэг: приглашенный к Сталину на дачу знатный сталева в простодушном смущении называет его «Виссарионом Иосифовичем»...

Зря молодежь смеется над незатейливостью старых картин. В них-то ничего не говорилось зря.

Отец относился к Лукову без особого пиетета. Замечал, что «Леня любит две вещи — харчи и начальство». Но для меня Луков ассоциировался с праздничностью, не хватавшей нашей семье.

Толстый, несколько хамоватый, бесцеремонный в выплеске эмоций, Луков в чем-то главном трогательно походил на свои картины. Кроме харчей и начальства, он любил женщин — и в фильмах эпохи официального пуританства это, вопреки всему, проявлялось.

Первой звездой, наблюдаемой мною запросто в быту, стала Марина Ладынина. Я ни в коем случае не хочу обидеть покойную Валентину Серову или Татьяну Кирилловну Окуневскую, которых узнал несколькими годами раньше, чем Марину Алексеевну. Но Серова была мамой моего товарища детства, а кидающей не «Девушкой с характером» — и когда называла она меня, перемазанного с ног до головы, поросенком, мог ли я в этом услышать лирические нотки из «Сердец четырех», которых я к тому же по малолетству и не видел?

Белозубый же смех Окуневской я, как в немом кино, видел только сквозь штакетник, разделявший дачные участки — наш и Бориса Горбатова: она была замужем за этим писателем, о чем нынче всем известно из ее скандальных мемуаров. «Как-то интересная женщина», — сказала державшая меня за руку родственница. Когда нас — опять же много лет спустя — познакомили с Татьяной Кирилловной, мне показалось комплиментарно-остроумным выразить наконец свое согласие с высказанной при ребенке оценкой — и вызвал гнев актрисы: не следовало напоминать ей о разнице в возрасте...

Я знал, что Пырьев поставил некогда фильм по сценарию отца — и Ладынина в «Любимой девушке» сыграла главную роль. Но это было давно — до моего рождения. В пятьдесят первом году мы находились на разных берегах, формально со-

седствуя на побережье Рижского залива в Дубултах, куда Пырьев и Ладынина приехали вместе с Андреем: сыном, носящим фамилию матери, что интриговало, подчеркивая необычность жизни знаменитостей.

Дирекция писательского дома отдыха не скрывала особого отношения к многократным лауреатам-кинематографистам. Се-

годня бы их привилегии показались смешными. Но тогда даже радиоприемник, предоставленный киношникам в индивидуальное пользование, поражающе простое смертных.

По-моему, Ладынина в общении и сегодняшним представлением о кинозвезде вполне бы соответствовала. Может быть, ей не доставало «иностранности», столь присущей Любови Орловой, снимавшейся у главного конкурента Пырьева — музыкального комедиографа Григория Александрова (их соперничество началось в ранней молодости, когда в спектакле «Мексиканец» по Джеку Лондону, поставленном Сергеем Эйзенштейном, они по-настоящему дрались на ринге). Но в дежурной, дистанцирующей улыбке дивы вдруг обнаруживалась пикантная русоплятость, немедленно располагавшая к Ладыниной.

Ко времени описываемого мною отдыха их семьи в Прибалтике она уже сыграла все свои главные роли — от свинarki до председатели. Кто бы представил тогда, что снимается она еще только однажды — в картине «Испытание верности», сыграл оставленную жену...

Через шесть лет я встречаю на вечеру во ВГИКе поступившего туда Андрея Ладынина — и не решаюсь, к сожалению, попросить его познать с трепетно-препостной однокурсницей. Не считал себя в ту секунду готовым к общению с такой девушкой — дружить с Людмилой Марченко мы начали, миновав свои лучшие годы. Студенткой же второго курса она стала возлюбленной Ивана Пырьева.

Их роман на глазах всего кинематографа наделал в те годы много шума. Помню, что сочувствовал осуждаемому молодежи, сверстниками и начальством Пырьеву. И в ответные чувства Людмилы к этому импульсивному и романтически властному человеку с готовностью бы поверил... Но Ивану Александровичу пришлось пережить неразделенную любовь, выразившую его суть никак не меньше, чем наивысшие достижения Пырьева в кино. С этой любовью кончился прежний кинематограф Ивана Пырьева. А новый, на мой взгляд, не успел начаться — в самозабвенном обращении к Достоевскому выплеснулось сокровенно личное, но язык кинематографический остался в рабстве у найденного для массового искусства. И в Людиной жизни событий масштабнее не произошло. В обратной дали она сохранилась обворожительной девочкой из «Отчего дома», поставленного, между прочим, не Пырьевым, а Кулиджановым... Ошибусь ли, предположив, что из всех звезд кинематографа вечная, хотя и анонимная слава реальна лишь для одной — для Зрителя, принявшего киношную версию жизни и мира?

В сущности вся история кино — история Зрителя. То есть наша с вами история. Я застал кино в середине его века. И считая, что половину пути, пройденного им в XX столетии, мы были вместе.

Александр НИЛИН.